Нана

Автор:
Эмиль Золя

Нана

Эмиль Золя

Ругон-Маккары #9

Эмиль Золя (1840–1902) – знаменитый французский романист, творчество которого ознаменовало новый этап развития реализма. Девятый роман эпопеи «Ругон-Маккары» рассказывает историю парижской куртизанки Нана. Главная героиня груба и порочна, но притягивает мужчин, заставляя их совершать безумные поступки. Богатые и бедные, женатые и одинокие – всех ждет одна судьба. В некоторых странах роман подвергся преследованиям цензуры как «оскорбляющий общественную нравственность»; в Дании и Англии он был первоначально запрещен.

Эмиль Золя

Нана

© Перевод. Н. М. Жаркова, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

I

Пробило девять, а зал театра Варьете был еще пуст. Лишь кое-где на балконе и в партере терпеливо ожидали начала немногочисленные зрители, затерявшиеся среди гранатового бархата кресел, в слабом сумеречном свете приспущенной люстры. Громадное алое пятно занавеса расплывалось во мраке; сцена безмолвствовала, рампу еще не зажигали, еще не расставили по местам сдвинутые в беспорядке пюпитры оркестрантов. Только в райке, ютившемся под расписным плафоном, где обнаженные девы и младенцы порхали в небесах, давно позеленевших от испарений газа, – слышался сдержанный непрерывный гул голосов, смех и выкрики; там уступами уходили ввысь к большим круглым окнам в золоченых рамах ряды чепцов и каскеток. В ложах время от времени появлялись билетерши и, с озабоченным видом держа билеты в руке, пропускали вперед очередную пару, чинно садившуюся на свои места: мужчина во фраке, при нем дама – тоненькая, затянутая, с томно блуждающим взором.

В креслах показались двое молодых людей. Не присаживаясь, они стали разглядывать зал.

– Ну что я тебе говорил, Гектор! – воскликнул тот, что был постарше, высокий брюнет с усиками. – Чего ради ты притащил меня так рано? Даже сигару не дал докурить.

Мимо прошла билетерша.

– Верно, господин Фошри, – фамильярно бросила она, – начнут уж никак не раньше, чем через полчаса.

– Зачем же писать в афишах, что начало в девять, – буркнул Гектор, досадливо кривя свое длинное худое лицо. – Еще сегодня утром Кларисса уверяла меня, что начнется в девять, а ведь она знает, сама занята в пьесе.

Они прервали беседу и, закинув голову, старались проникнуть взором в полумрак лож. Но зеленая обивка, казалось, еще сгущала тени. Внизу под галереей утопали в полной мгле ложи бенуара. В ложе балкона сидела одна-единственная зрительница – какая-то полная дама, тяжело опиравшаяся на бархатный барьер. Справа и слева от сцены, между высоких колонн, еще

пустовали литерные ложи, задрапированные занавесями с длинной бахромой. Белизна и позолота зала, оттененные нежно-зелеными тонами, еле проступали сквозь легкую пелену света, льющегося из большой хрустальной люстры, где газовые рожки только еще начинали разгораться.

– А ты достал ложу для Люси? – спросил Гектор.

– Достал, но с каким трудом! – ответил его спутник. – Не беспокойся, Люси раньше времени не явится.

Он подавил зевок и после минутного молчания добавил:

– Тебе повезло, ты ведь еще никогда на премьерах не бывал… «Белокурая Венера» наверняка будет гвоздем сезона. О ней уже целых полгода трезвонят. Ах, дружок, какая музыка! Шик!.. Борденав, а он в таких делах знаток, недаром приберег пьесу для Выставки.

Гектор слушал его слова с благоговейным вниманием. Потом спросил:

– А эту Нана, новую звезду, которая играет Венеру, – ты ее знаешь?

– Господи! И ты туда же! – воскликнул Фошри, воздевая к небесам руки. – С самого утра меня допекают этой Нана. Я нынче встретил человек двадцать, и все как сговорились, Нана да Нана!.. А я почем знаю! Неужели я обязан помнить всех парижских девок?.. Нана – новое открытие Борденава. Этим все сказано!

Он замолчал, успокоился. Но вид пустого зала, тусклый свет люстры, какое-то почти церковное благолепие, благолепие храма, где человек невольно переходит на шепот, боится хлопнуть дверью, снова вывели его из равновесия.

– Ну, нет уж, – неожиданно заявил он, – с меня хватит! Лично я ухожу. Может, нам посчастливится обнаружить внизу Борденава. И даже узнать кое-какие подробности.

В огромном вестибюле, выложенном мраморными плитами, у контроля уже начали толпиться зрители. Сквозь распахнутые двери видны были бульвары, где под высоким небом апреля шла своя особая жизнь с жаркой сутолокой и

сверканием огней. Стук карет резко обрывался у подъезда, громко хлопали дверцы; зрители по двое, по трое входили в вестибюль, задерживались у контроля, поднимались по расположенной в глубине вестибюля лестнице, расходившейся направо и налево двумя маршами; на ступеньках с умыслом медлили, играя гибкой талией, дамы. В беспощадном свете газа, среди мертвенной наготы вестибюля, которому жалкие колонны в стиле ампир придавали сходство с храмом, воздвигнутым из папье-маше, бросались в глаза длинные афиши, где на желтом фоне огромными черными буквами выделялось имя НАНА. Мужчины останавливались и впивались глазами в афишу; уже прочитавшие толпились в дверях, загораживая проход; а у билетной кассы толстяк с широким гладко выбритым лицом грубо огрызался в ответ на просьбы желающих получить билетик.

– Вот он, Борденав, – сказал Фошри, спускаясь по лестнице.

Но директор уже заметил его.

– Хорош, нечего сказать! – крикнул он снизу. – Где она, обещанная статейка? Открываю утром «Фигаро», и хоть бы слово!

– Да подождите, – отбивался Фошри. – Надо сначала посмотреть вашу Нана, а потом уже о ней писать… Кстати, я вам ровно ничего не обещал.

Желая положить конец пререканиям, он представил директору своего кузена Гектора де Ла Фалуаз, прибывшего в Париж с намерением завершить здесь свое образование. Директор бросил на юношу быстрый оценивающий взгляд. А Гектор в волнении уставился на него. Так вот каков он – знаменитый Борденав, владелец труппы дрессированных девиц, их тюремщик, неистощимый поставщик сенсационных новинок, вот он, этот циник с замашками жандарма, – орет, брызжет слюной, хлопает себя по ляжкам. Гектор решил, что обязан начать разговор с какой-нибудь любезной фразы.

– Ваш театр… – произнес он медовым голоском.

Но Борденав прервал его бесцеремонным словечком, как человек, не склонный приукрашивать истину.

– Скажите лучше – мой бордель.

Фошри одобрительно фыркнул, а шокированный Ла Фалуаз, поперхнувшись комплиментом, старался сделать вид, что оценил остроту. Тут директор бросился здороваться с театральным критиком, чьи фельетоны имели немалый вес. Когда он снова подошел к молодым людям, Ла Фалуаз уже успел оправиться от смущения. Пуще всего он боялся, что будет мяться, и тогда в нем признают провинциала.

– Мне говорили, – начал он, не желая сдаваться, – что у Нана прелестный голос.

– Это у нее-то?! – воскликнул директор, пожимая плечами. – Визжит, как драная кошка!

Юноша поспешил исправить свой промах:

– Зато великолепная артистка.

– Это она-то!.. Тумба тумбой, ни рукой, ни ногой двинуть не умеет.

Легкая краска проступила на скулах Ла Фалуаза. Он окончательно отказывался что-либо понимать. И пробормотал:

– Ни за какие блага мира я не пропустил бы нынешней премьеры. Мне известно, что ваш театр…

– Мой бордель… – снова поправил его Борденав с холодным упрямством человека, которого не так-то легко сбить с его позиций.

Тем временем невозмутимый Фошри разглядывал входивших дам. Он поспешил на помощь кузену, который стоял разинув рот, не зная, смеяться ему или обидеться.

– Ну что тебе стоит порадовать Борденава, называй его театр, как он тебя просит, раз ему так хочется… А вы, дружок, бросьте нас морочить. Если ваша Нана не умеет ни петь, ни играть, спектакль просто-напросто провалится. Впрочем, боюсь, что так оно и будет.

– Провалится! Провалится! – завопил директор, багровея от негодования. – Да кто вам сказал, что женщина должна уметь петь и играть! Ах, детка, ты, как я погляжу, просто дурак… У Нана есть нечто другое, и это-то другое все заменит, уж поверь мне. У меня на такие вещи нюх, так вот этого другого у Нана хоть отбавляй, или я, старый болван, ничего не стою… Вот увидишь, сам увидишь, стоит ей выйти на сцену, и весь зал ахнет.

Он вскинул к потолку свои огромные ручищи, которые тряслись от восторга; облегчив душу, он понизил голос и пробормотал про себя:

– Да, она далеко пойдет, далеко, уж поверьте… Кожа-то, кожа какая…

И так как Фошри не отставал, Борденав снизошел и сообщил кое-какие подробности в столь откровенных выражениях, что Гектор де Ла Фалуаз сконфузился… По словам Борденава, Нана он знал раньше и решит дать ей ход. Кстати, он тогда как раз искал Венеру для новой пьесы. Лично он не любитель долго возиться с новенькими, пускай публика получит свое удовольствие. Ну и хлебнул же он горя, когда эта рослая девица появилась в их заведении, – чуть бунт не поднялся. Роза Миньон, главная его звезда, она и поет прекрасно и играет отлично, так вот Роза совсем разъярилась, почуяв соперницу, каждый божий день грозит бросить его на произвол судьбы. А с афишами-то что было, боже мой! В конце концов он велел набрать имена обеих артисток одинаково крупным шрифтом. Пусть только оставят его в покое. А если кто-нибудь из его девочек, как он именовал своих артисток, скажем, Симона или Кларисса, заартачится, он, не беспокойтесь, сумеет дать им пинка пониже спины. Иначе от них житья не будет. Он, слава богу, перевидал их на своем веку, знает им цену, этим шлюхам!

– Смотрите-ка! – прервал он свой рассказ. – Наши неразлучные пришли – Миньон со Штейнером. Роза, знаете ли, порядком прискучила Штейнеру, ну вот муж за ним и ходит по пятам, боится, как бы тот не дал тягу.

От газовых рожков, зажженных на фронтоне театра, пролегла по тротуару светлая полоса. Два ярко-зеленых деревца четко вырисовывались на фоне неба; свет газа придавал колонне неестественную белизну, и можно было, как днем, издали прочесть афишу; а там, еще дальше, огни буравили сгустившийся мрак бульваров, где смутно угадывалось непрерывное движение толпы. Подходившие к театру мужчины не спешили войти и, остановившись у входа, беседовали, докуривая сигару; газовые рожки окрашивали их лица в синеватый цвет, и на

асфальт ложились кургузые тени. Миньон, чересчур высокий, чересчур широкоплечий, с четырехугольным, как у ярмарочного борца, черепом, легко прокладывал в толпе дорогу, волоча за собой банкира Штейнера, низенького, пузатенького, круглолицего, с седеющей бородкой.

– Ну так вот! – обратился Борденав к банкиру. – Вчера вы как раз и видели ее у меня в кабинете.

– Ах, значит, это она! – воскликнул Штейнер. – Я так и думал. Но мы с ней столкнулись уже на пороге, и я даже не успел ее как следует разглядеть.

Миньон прислушивался к разговору, не подымая опущенных век, нервическим жестом вертя вокруг мизинца перстень с огромным бриллиантом. Он сразу понял, что речь идет о Нана. Но Борденав так живо набросал портрет своей дебютантки, что в глазах банкира вспыхнул огонек, и тут Миньон решил вмешаться.

– Да бросьте, милый, самая обыкновенная потаскушка! Публика ей еще покажет… Штейнер, голубчик, моя жена ждет вас у себя в уборной.

Он попытался было увести его силой. Но Штейнер не желал расставаться с Борденавом. Прямо перед ними зрители, выстроившись цепочкой, напирали на контролеров, и среди нестройного гула голосов все чаще слышалось имя Нана – два коротких певучих слога. Мужчины, толпившиеся у афиш, громко скандировали это имя; другие бросали его на ходу, как вопрос; а женщины с тревожной улыбкой на устах повторяли его тихонько, с удивлением. Никто не знал Нана. Откуда она взялась, эта самая Нана? Шепотом, на ушко друг другу, передавались шуточки, анекдоты. Само имя уже звучало как ласка, уменьшительное имя, становившееся интимным в любых устах. Достаточно было произнести его вот так вслух, и толпой овладевало веселое благодушие. Всех охватила лихорадка любопытства, того особого парижского любопытства, которое по силе можно сравнить только с приступом горячки. Всем хотелось видеть Нана. В толчее какой-то даме оторвали оборку, какой-то господин потерял шляпу.

– Нет, это уж слишком! – завопил Борденав, когда человек двадцать насели на него с вопросами. – Сами увидите… А я бегу, меня ждут.

Он исчез в восторге от того, что сумел разжечь свою публику. Миньон, пожав плечами, напомнил Штейнеру, что Роза давно ждет их, – хочет показать свой костюм для первого акта.

– Смотри, вон Люси выходит из кареты, – сказал Ла Фалуаз, обращаясь к Фошри.

Это действительно оказалась Люси Стюарт, маленькая дурнушка лет под сорок; шея у нее была слишком длинная, личико помятое, губы слишком крупные, но необычайное изящество и живость движений придавали ей какое-то особое обаяние. Она привезла с собой Каролину Эке и ее матушку; Каролина поражала холодной красотой, а матушка, весьма достойная особа, походила на чучело.

– Пойдешь с нами, я тебе оставила место, – скомандовала Люси, обращаясь к Фошри.

– Нет уж, увольте! Оттуда ничего не видно, – ответил он. – У меня кресло, предпочитаю сидеть в партере.

Люси взорвалась. Значит, он просто боится показываться с ней? Потом, так же внезапно успокоившись, заговорила о другом.

– Почему ты мне не сказал, что знаешь Нана?

– Я? Да я ее в глаза не видал!

– Ох, так ли? А меня уверяли, будто ты с ней спал.

Но стоявший рядом Миньон, приложив к губам палец, призвал их к молчанию. И в ответ на вопросительный взгляд Люси прошептал, показав на молодого человека, проходившего мимо:

– Ее дружок!

Присутствующие взглянули на молодого человека. Он был весьма недурен собой. Оказалось, Фошри его знает: это Дагне; мальчик уже успел просадить на женщин миллиона три и сейчас крутится на бирже, чтобы заработать на букет для какой-нибудь очередной дамы или угостить ее обедом. Люси объявила, что у

него прелестные глаза.

– А вот и Бланш! – воскликнула она. – Кстати, Бланш мне и сказала, что ты спал с Нана.

Бланш де Сиври, рослую блондинку с хорошеньким, но преждевременно расплывшимся личиком, сопровождал хилый, очень выхоленный и очень элегантный господин.

– Граф Ксавье де Вандевр, – шепнул Фошри на ухо Ла Фалуазу.

Граф обменялся рукопожатием с журналистом, а Бланш с Люси, не теряя времени, вступили в бурное объяснение. Одна была в розовом, другая – в голубом; своими широкими юбками в воланах они загородили весь проход, и имя Нана произносилось обеими дамами так часто и так громко, что к ним уже стали прислушиваться. Граф де Вандевр увел Бланш. Но теперь имя Нана звучало уже во всех уголках вестибюля, накаляя страсти заждавшихся зрителей. Почему, в самом деле, не начинают? Мужчины то и дело вынимали из жилетного кармана часы, опаздывающие выскакивали на ходу из карет, зрители, толпившиеся на улице, потянулись к дверям, а случайные прохожие, вступая в полосу света на опустевшем тротуаре, замедляли шаги, вытягивали шеи, стараясь заглянуть в вестибюль. Какой-то мальчишка, насвистывая песенку, пробежал было мимо театра, но вдруг остановился перед афишей, хрипло выкрикнул: «Эй ты, Нана!» – и пошел дальше развинченной походкой, шаркая стоптанными башмаками. Раздался взрыв смеха. Вполне пристойные с виду господа повторяли вслед за сорванцом: «Нана, эй, Нана!» Началась давка у контроля, вспыхнул скандал, голоса, призывавшие Нана, требовавшие Нана, сливались в нестройный гул; толпа, как всякая толпа, была рада поддаться любой глупой забаве, любому порыву низменной чувственности.

Но над этим содомом внезапно послышалось треньканье звонка, возвещавшего о начале спектакля. Гам переплеснулся на бульвар: «Звонят, звонят!»; каждый энергично прокладывал себе дорогу в толпе, так что пришлось прислать подкрепление контролерам. Встревоженному Миньону удалось наконец сдвинуть с места Штейнера, который так и не удосужился посмотреть Розин костюм. При первом же звяканье колокольчика Ла Фалуаз, испугавшись, что они не поспеют к увертюре, потащил за собой Фошри, прокладывая дорогу локтями. Это излишнее рвение публики бесило Люси Стюарт. Ну и грубияны, женщину готовы затолкать! Она нарочно замешкалась вместе с Каролиной Эке и ее

матушкой. Вестибюль опустел, только во входные двери все еще врывалось протяжное гудение бульвара.

– Хоть бы пьесы у них были веселые, и того нет, – твердила Люси, поднимаясь по лестнице.

В зале Фошри и Ла Фалуаз, стоя у своих кресел, вновь огляделись вокруг. Теперь все здесь сияло. Длинные язычки газа играли на хрустальных подвесках люстры, брызги розовых и желтых огней дождем падали от плафона до партера. Темно-гранатовая обивка кресел отливала теперь алым, а игра позолоты смягчалась нежной зеленью орнамента, и только роспись плафонов сохраняла свою неумеренную яркость. Рампа словно пламенем зажгла тяжелый пурпурный занавес, сказочно богатый, как в волшебных замках, зато еще резче выступило убожество портала, где трещины обнажили штукатурку под позолотой. Становилось жарко. Рассевшись перед пюпитрами, оркестр настраивал инструменты, и среди крепнувшего гула голосов проносилась то легчайшая трель флейты, то сдержанный вздох валторны, то певучий голос скрипки. Зрители говорили все разом, толкались, рассаживались по местам, добытым с боя; в коридорах скопилась уйма народу, и в двери с трудом просачивался неиссякаемый людской поток. Махали друг другу, шуршали шелка, в затейливый хоровод юбок и причесок то тут, то там врезалось черное пятно фрака или редингота. Меж тем ряды кресел заполнялись; кое-где резко выделялся светлый туалет, головка с нежным профилем клонилась под тяжестью шиньона, среди локонов вспыхивала молния диадемы. В ложе изгиб оголенного плечика отливал атласной белизной. Дамы, уже успевшие усесться, томно обмахивались веером, спокойно наблюдая за суетой, а в партере молодые люди в слишком низко вырезанных жилетах, с гарденией в петлице, наводили на ложи бинокль, держа его самыми кончиками пальцев, обтянутых белыми перчатками.

Кузены Ла Фалуаз и Фошри тоже стали искать знакомые лица. Миньон и Штейнер восседали бок о бок в бенуаре, чинно положив ладони на бархат барьера. Бланш де Сиври, казалось, занимала своей особой всю литерную ложу бельэтажа. Но особенно внимательно Ла Фалуаз разглядывал Дагне, который тоже сидел в креслах двумя рядами ближе к сцене. Рядом с ним оказался совсем юный мальчик, лет семнадцати, не более, видимо улизнувший школяр; он смотрел вокруг широко открытыми глазами, прекрасными, как у херувима. Фошри не мог сдержать улыбки.

– А что это за дама на балконе? – вдруг спросил Ла Фалуаз. – Вон та, рядом с которой сидит девушка в голубом.

Он показал на дебелую даму, туго затянутую в корсет, по-видимому, бывшую в свое время блондинкой, а теперь перекрасившую седые волосы в соломенный цвет, с нарумяненной круглой физиономией, казавшейся еще круглее из-за мелко завитой гривки, по-детски спущенной на лоб.

– Это Гага, – лаконически ответил Фошри.

Заметив, что имя ее удивило кузена, он пояснил:

– Разве ты не слышал про Гага? Краса самых первых лет царствования Луи-Филиппа. Теперь она повсюду таскает за собой дочку.

Ла Фалуаз даже не взглянул на молоденькую девушку. Его заинтересовала сама Гага, он не спускал с нее глаз; он находил, что и сейчас еще она совсем недурна, однако не посмел высказать свое мнение вслух.

Тем временем дирижер поднял палочку, музыканты грянули увертюру. Зрители по-прежнему входили в зал, суета и шум удесятерились. У этой публики имелись здесь свои излюбленные укромные уголки, где завсегдатаи премьер улыбались при встрече незнакомым как знакомым. Они не снимали шляп, раскланивались направо и налево и вообще чувствовали себя в театре как дома. Весь Париж был здесь, – Париж литературный, финансовый, прожигающий жизнь, множество журналистов, кое-кто из писателей, биржевики, девицы легких нравов, превосходившие численностью порядочных женщин; целый мир, странная смесь, где попадаются все таланты, все пороки, но где все лица отмечены одной и той же печатью усталости и лихорадочного возбуждения. Фошри, еле успевая отвечать на вопросы кузена, показал ему ложу, отведенную для прессы и членов театрального клуба, потом обратил его внимание на двух театральных критиков, одного худенького, высохшего, с тонкогубым злым ртом и другого – толстяка с детски благодушной физиономией, – этот все жался к плечу своей соседки, молоденькой актрисочки, не спуская с нее отечески нежного взгляда.

Но, увидев, что Ла Фалуаз кланяется каким-то господам в ложе напротив сцены, он прервал свой рассказ. Он был явно удивлен.

– Как, ты, оказывается, знаком с графом Мюффа де Бевиль? – осведомился он.

– Давным-давно, – ответил Гектор. – Поместье Мюффа расположено неподалеку от нашего. Я у них часто бывал… Граф здесь со своей женой и тестем, маркизом де Шуар.

И, не скрывая тщеславного удовольствия, что и ему тоже удалось поразить кузена, Гектор пустился в подробности: маркиз был государственным советником, графа на днях назначили камергером при особе императрицы. Фошри поднес к глазам бинокль, разглядывая графиню, пухленькую брюнетку с очень белой кожей и лучистыми черными глазами.

– Представишь меня во время антракта, – сказал он, окончив осмотр. – С графом я встречался, но мне хочется попасть на их вторники.

Энергичное «тише!» донеслось с галерки. Увертюра уже гремела, а публика все продолжала входить. Из-за одного опоздавшего приходилось подниматься целому ряду партера, хлопали двери лож, в коридорах шли громкие споры. И гул голосов не стихал ни на минуту, словно расчирикалась напропалую перед закатом солнца стая воробьев. Все окончательно смешалось – машущие руки, головы; одни садились, стараясь поудобнее устроиться в креслах, другие упорно торчали посреди зала, желая в последний раз окинуть его взглядом. Из темных глубин партера донесся яростный крик: «Садитесь! Садитесь!» По толпе зрителей пробежала дрожь: наконец-то они увидят эту Нана, о которой им столько наговорили и которой вот уже целую неделю занимался весь Париж.

Мало-помалу волна голосов спадала, разговоры затихли, лишь изредка слышался чей-то густой бас. И среди приглушенного шепота и замирающих вздохов вдруг стал слышен оркестр, посылавший в зал зажигательные звуки легкого вальса, в пошлом ритме которого слышался задорный смех. Публику так и разбирало, рты растягивались в улыбку. А клакеры, сидевшие в первых рядах, разразились неистовыми рукоплесканиями. Поднялся занавес.

– Смотри-ка, – проговорил неугомонный Ла Фалуаз, – у Люси в ложе какой-то незнакомый господин.

Он не отрываясь смотрел на ложу с правой стороны балкона, где на передних креслах сидели Люси и Каролина. В глубине виднелась благообразная

физиономия г-жи Эке-старшей, матушки Каролины, и профиль какого-то высокого, безукоризненно одетого молодого человека с прекрасной белокурой шевелюрой.

– Да посмотри же, – твердил Ла Фалуаз, – там какой-то господин.

Фошри снизошел к просьбе кузена и направил на ложу бинокль. Но тотчас же отвернулся.

– Да это же Лабордет, – пробормотал он беспечным тоном, будто присутствие вышеназванного господина в чужой ложе было более чем натурально и ровно ничего не означало.

Позади их раздался крик: «Тише, вы!» Пришлось замолчать. Теперь от партера до амфитеатра зал оцепенел; застыла в сосредоточенном внимании зыбкая линия голов. Первое действие «Белокурой Венеры» происходило на Олимпе, на некоем картонном Олимпе, с троном Юпитера направо и облаками вместо кулис. Сначала появились Ирида и Ганимед в окружении хора небесной челяди, – не переставая петь, хористы расставляли по сцене сиденья, предназначенные для богов, собравшихся на совет. Снова из того ряда, где сидели клакеры, послышалось «браво!», но публика их не поддержала. Она еще не освоилась и ждала. Только Ла Фалуаз громко зааплодировал при появлении Клариссы Беню – одной из девочек Борденава, которая играла Ириду и одета была в нежно-голубую тунику, подпоясанную широким семицветным шарфом.

– Знаешь, чтобы надеть этот костюм, ей пришлось снять сорочку, – пояснил он кузену, умышленно не понижая голоса. – Утром мы с ней устроили примерку… Сорочка вылезала на спине и под мышками.

Но тут по залу пробежал легкий трепет. На сцену вышла Роза Миньон в костюме Дианы. И хотя эта смуглая худенькая женщина с восхитительно неправильной, как у парижского гамена, мордочкой не подходила для роли Дианы ни лицом, ни фигурой и скорее уж была пародией на мифологическую богиню, – как раз этим она и пленила зал. Свою выходную арию с отчаянно глупыми словами – жалобой на изменника Марса, который собирается бросить ее ради Венеры, – она пропела сдержанно, даже целомудренно, однако так сумела подчеркнуть голосом каждый игривый намек, что сразу расшевелила зрителей. Ее муж и Штейнер, сидевшие бок о бок, снисходительно посмеивались. И весь зал разразился

хохотом, когда на сцене появился Марс-Прюльер, признанный любимец публики, в генеральской форме, с гигантским плюмажем на треуголке, волоча за собой длиннющую саблю, которая упиралась ему эфесом под мышку. Хватит с него Дианы, надоела; слишком о себе много воображает. Тогда Диана клянется подстеречь неверного и отомстить. Дуэт закончился шутливой песенкой, которую Прюльер спел очень весело на тирольский лад, то взвизгивая, то урча, как рассвирепевший кот. Держался он с забавным фатовством избалованного первого любовника и так фанфаронски вращал глазами, что дамы в ложах покатывались со смеху.

Но вскоре публика опять охладела к пьесе; следующие сцены показались ей скучноватыми. Только старику Боску, игравшему придурковатого Юпитера и нацепившему огромную корону, которая то и дело соскальзывала ему на уши, удалось ненадолго рассмешить публику в сцене ссоры с Юноной из-за счета на провизию. А шествие богов – Нептуна, Плутона, Минервы и прочих – чуть было не загубило спектакля. Публика потеряла терпение, в зале постепенно стал нарастать тревожный шепот, утратившие интерес зрители отворачивались от сцены и рассматривали зал. Люси пересмеивалась с Лабордетом; граф де Вандевр тянул шею, стараясь выглянуть из-за мощных плечей Бланш; а Фошри тем временем украдкой бросал взгляды на семейство Мюффа, на графа, сидевшего с таким видом, будто он не понимал, что происходит на сцене, на улыбающуюся своим мыслям графиню, мечтательно и рассеянно глядевшую куда-то вдаль. Но внезапно среди этого тягостного уныния раздались аплодисменты клакеров, громкие и размеренные, словно повзводная стрельба. Все головы повернулись к сцене. Неужели наконец появилась Нана? Эта Нана слишком уж заставляет себя ждать.

Но появилась под водительством Ириды с Ганимедом делегация смертных, почтенных обывателей; обманутые мужья пришли принести владыке богов жалобу на Венеру, зачем-де она воспламеняет страстями их жен. Нарочито наивная жалоба хора, прерываемая долгими многозначительными паузами, развеселила публику. Весь зал облетело чье-то крылатое словцо: «Хор рогачей, хор рогачей», – и оно так и осталось за этим номером. Раздались крики «бис!». Да и у самих хористов вид был забавный, вполне подходящий к случаю; особенно пришелся по вкусу публике один толстяк с круглой, как полная луна, физиономией. Тем временем на сцену выскочил разъяренный Вулкан, требуя свою супругу, которая вот уже три дня находится в бегах. Снова вступил хор, взывая к богу рогоносцев Вулкану. Его играл Фонтан, комический актер самобытного, но вульгарного дарования, неуемной разнузданной фантазии. Вулкана он изображал в виде сельского кузнеца в огненно-рыжем парике, с

обнаженными руками, покрытыми, точно татуировкой, изображением пронзенных стрелой сердец. Какая-то женщина, не удержавшись, воскликнула на весь зал: «Ну и урод!» Слова ее были покрыты смехом и аплодисментами.

Следующая сцена показалась публике бесконечно растянутой. Юпитер никак не мог собрать совет богов, дабы обсудить петицию рогоносцев. А Нана так и не появлялась. Неужели ее выпустят на сцену только под занавес? Это бесконечно долгое ожидание стало раздражать публику. Снова послышался шепот.

– Дело плохо, – твердил, сияя, Миньон банкиру Штейнеру. – Зря публику заманивают!

В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих восемнадцати лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам без всяких ухищрений длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике. И завела свою выходную арию:

Однажды вечерком Венера…

Когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Что это, шутка, новая блажь Борденава, или он просто побился с кем-нибудь об заклад? Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор Варьете, заявив, что она поет, как драная кошка. И к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «о! о!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос.

– Шикарно! – провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью.

Весь зал уставился на смельчака. Им оказался тот самый херувимчик, школяр, улизнувший из коллежа; он таращил на Нана свои красивые глаза, его окаймленное белокурыми локонами лицо разгорелось. Заметив, что все бинокли и взоры устремились на него, он побагровел от стыда, сообразив только сейчас, что кричал во все горло. Дагне с улыбкой наблюдал за своим соседом, свист прекратился, и публика захохотала, как бы обезоруженная этим возгласом;

а молодые люди в белых перчатках громко захлопали, млея от восторга при виде округлых форм Нана:

– Прелестно! Превосходно! Браво!

А Нана, увидев, что зал хохочет, тоже расхохоталась. Все окончательно развеселились. Эта красотка и впрямь забавная. Когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене; казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно ни на грош, что она не тем, мол, берет. И, махнув дирижеру рукой, как бы говоря: «А ну, давай, дружок!» – она затянула второй куплет:

Когда Венера в час ночной…

Пела она все тем же пронзительным голосом, но теперь голос этот задевал как раз те струны, которые требуется, чтобы бросить публику в легкую дрожь. Нана по-прежнему откровенно смеялась, смех порхал на ее ярко-красных губах и зажигал озорные огоньки в огромных светло-лазоревых глазах. В чересчур игривых местах она плотоядно морщила носик, розовые ноздри ее раздувались, а щеки заливал румянец. Она все так же нелепо раскачивалась всем телом, видимо, ничего другого она на сцене делать не умела. Но теперь это покачивание уже не казалось публике таким неуклюжим, напротив: мужчины не отрывали от сцены биноклей. Когда Нана заканчивала свои куплеты, ей совсем изменил голос, и она сама поняла, что ей ни за что не допеть арию до конца. Тогда, ничуть не тревожась, она вильнула бедром, обнаружив его приятную округлость сквозь прозрачную тунику, выставила грудь, закинула голову, а обе руки протянула вперед. Раздались аплодисменты. И сразу же Нана повернулась к залу спиной и направилась за кулисы, показав публике гриву рыжих волос, вольно рассыпавшихся по спине, – и весь зал разразился рукоплесканиями.

Конец первого акта был встречен с холодком. Вулкан хотел надавать Венере пощечин. Боги собрались на совет и постановили самолично провести на Земле обследование, а уж потом дать ход жалобе обманутых мужей. Но тут Диана, подслушав, как воркуют в стороне Венера с Марсом, клянется, что во время всего путешествия будет зорко следить за влюбленной парой. Была здесь также сцена Амура, которого играла девчушка лет двенадцати; на все вопросы Амур, ковыряя в носу, плаксиво твердил: «Да, мамаша… Нет, мамаша». Вслед за тем Юпитер, неумолимый, как школьный учитель, засадил Амура в карцер, велев ему

проспрягать двадцать раз подряд глагол «любить». Конец акта понравился больше, хор и оркестр провели его с блеском. Но когда занавес упал, несмотря на все старания клаки, вызывавшей актеров, публика дружно поднялась с мест и направилась к дверям.

Зрители с трудом пробирались сквозь ряды кресел, толкая соседей, обмениваясь впечатлениями. Во всех уголках залы слышалось:

– Экая ерунда!

Театральный критик заявил, что без купюр, и немалых, не обойтись. Впрочем, бог с ней, с пьесой; все разговоры вертелись главным образом вокруг Нана. Фошри и Ла Фалуаз, которым удалось выбраться из зала в числе первых, столкнулись в коридоре партера со Штейнером и Миньоном. В этом узком, длинном, как кишка, и низком, как штольня, помещении, освещенном тусклым светом газовых рожков, можно было задохнуться. Кузены остановились передохнуть справа у лестницы, укрывшись за полукругом перил. Сверху беспрерывным потоком спускались посетители галерки, размеренно топая грубыми башмаками, вслед за ними проплыла волна черных фраков; билетерша, стиснутая со всех сторон, старалась загородить стул, на который она складывала пальто.

– Да я же ее знаю! – еще издали закричал Штейнер, заметив Фошри. – Клянусь, я где-то ее видел… По-моему, в Казино, она до того напилась, что ее пришлось вывести.

– Лично я поклясться не могу, – подхватил журналист, – но и у меня, представьте, такое впечатление, что я ее где-то видел.

И, понизив голос, он с улыбкой добавил:

– Уж не у Триконши ли?

– В этом мерзком вертепе? Это уж черт знает что! – взорвался Миньон, терпение которого окончательно истощилось. – Тошно смотреть, как публика встречает первую попавшуюся шлюху. Скоро так в театре ни одной порядочной женщины не останется, кончится тем, что я запрещу Розе играть, именно запрещу.

Фошри не мог сдержать улыбки. А топот ног в грубых башмаках все еще заполнял лестницу, с верхней до нижней ступеньки; какой-то коротышка в каскетке объявил во всеуслышание, забавно растягивая слова:

– Пышка-то преаппетитная! Так бы ее и съел.

В коридоре сцепились два молоденьких франтика с мелко завитыми волосами, вполне корректно одетые, в воротничках с отогнутыми кончиками. Один твердил: «Гадость! Гадость!», не давая себе труда пояснить свою мысль, другой отвечал ему в тон: «Прелесть! Прелесть!», тоже не снисходя до более пространных объяснений.

Ла Фалуаз нашел, что Нана весьма мила, но, добавил он осторожно, была бы еще лучше, если бы поработала над голосом. Тут Штейнер, который пропустил всю беседу мимо ушей, вдруг словно очнулся ото сна. Впрочем, подождем выносить суждение. Возможно, следующие акты испортят все. Публика, конечно, слушала снисходительно, но пока спектакль ее не захватил. Миньон клялся, что зрители все равно не досмотрят премьеру до конца, и, так как Фошри и Ла Фалуаз отправились в фойе, он взял Штейнера за руку и шепнул, навалившись ему на плечо:

– А теперь, дружок, вам необходимо посмотреть костюм моей жены для второго акта. Да, пикантненько получилось!

В верхнем фойе ярко горели три хрустальных люстры. Кузены на минуту замешкались: сквозь обшарпанные застекленные двери виднелось волнующееся море голов, которое двумя встречными потоками беспрерывно омывало галерею. Однако они решились войти. Пять-шесть групп мужчин, оживленно беседовавших, сопровождая свои слова широкими взмахами рук, стойко держались среди этой толчеи; все прочие покорно шагали в затылок друг другу бесконечной цепочкой, круто заворачивая в концах галереи и царапая навощенный паркет каблуками. Справа и слева меж колонн крапчатого мрамора на обитых алым бархатом скамейках восседали дамы, как видно совсем разомлевшие от жары, и с усталым видом поглядывали на перекатывавшуюся перед ними людскую волну; высокие зеркала за их спиной послушно отражали затейливые шиньоны. На другом конце галереи какой-то толстяк пил у буфетной стойки сироп.

Но Фошри, желая подышать свежим воздухом, вышел на балкон. Ла Фалуаз начал было изучать фотографии актрис, развешанные между зеркалами за рядом колонн, но потом последовал за кузеном. Только что потушили газовые фонари над входом в театр. На балконе, где было совсем темно и прохладно, казалось, нет никого, но вдруг они заметили в правом углу какого-то молодого человека; опершись о каменную балюстраду, он курил, и кончик его сигареты алел во мраке. Фошри узнал Дагне. Они обменялись рукопожатиями.

– Что вы здесь поделываете, дорогой? – спросил журналист. – Прячетесь по укромным уголкам, хотя, насколько мне известно, в дни премьер вас из партера не выманишь.

– Как видите, курю, – отозвался Дагне.

Фошри вдруг захотелось его подразнить;

– Ну, а что вы скажете о новой дебютантке? В кулуарах о ней отзываются не особенно хорошо.

– Очевидно, отзываются мужчины, которых она отвергла! – пробормотал Дагне.

Больше он о талантах Нана не распространялся. Перегнувшись через перила, Ла Фалуаз посмотрел на бульвар. Прямо напротив горели ярко освещенные окна какого-то отеля и клуба; а на тротуаре за столиками кафе «Мадрид» густо плечом к плечу сидели посетители. Хотя время было уже позднее, толпа не убывала; прохожим приходилось замедлять шаг, из дверей пассажа Жофруа непрерывным потоком лились люди; пешеходы по несколько минут ждали, прежде чем им удавалось перейти на другую сторону, так как экипажи тянулись теперь непрерывной вереницей.

– Какое движение! Какой шум! – повторял Ла Фалуаз, все еще не переставший дивиться Парижу.

Раздалось продолжительное треньканье звонка, фойе опустело. Люди бросились в кулуары. Занавес подняли, а публика все еще валом валила в зал, к негодованию зрителей, уже успевших усесться. Каждый спешил занять свое место, и на всех лицах застыло оживленно-внимательное выражение. Войдя в зал, Ла Фалуаз первым делом кинул взгляд на Гага; но обомлел, увидев рядом с

ней того самого высокого блондина, который только что сидел в литерной ложе Люси.

– Как, ты говоришь, зовут этого господина? – спросил он.

Фошри не сразу разглядел того, о ком шла речь.

– Да это же Лабордет, – наконец сказал он, все так же беспечно махнув рукой.

Декорация второго акта произвела эффект. Сцена представляла знаменитый кабачок «Черный шар» у парижской заставы в самый разгар масленичного карнавала; маски затянули застольную песню, постукивая в такт каблуками. Эта неожиданная озорная выдумка развеселила публику, и она потребовала повторить номер. И вот здесь-то вся орава богов, заплутавшаяся по вине Ириды, которая без зазрения совести хвалилась, будто знает Землю вдоль и поперек, решила провести свое обследование. Желая сохранить инкогнито, боги нарядились в маскарадные костюмы. Юпитер оделся под короля Дагобера, – штаны наизнанку, огромная железная корона; Феб появился в костюме почтальона из Лонжюмо, а Минерва в костюме нормандской кормилицы. Выход Марса, вырядившегося в нелепый костюм швейцарского адмирала, вызвал взрыв всеобщего веселья. Но когда появился, шаркая туфлями, Нептун в блузе и высокой каскетке со вздутым верхом, с прилизанными височками и произнес жирным голосом: «Ничего не попишешь, нам, красавцам, отбою от женщин нет!» – раздался утробный хохот. Послышались возгласы: «Ого-го!», а дамы чуть прикрывались веерами. Люси в своей литерной ложе заливалась таким громким смехом, что Каролине пришлось легонько стукнуть ее по плечу веером.

Итак, пьеса была спасена, все почувствовали, что ее ждет огромный успех. Публике пришелся по вкусу этот карнавальный пляс небожителей, этот втоптанный в грязь Олимп, поругание целого мира религии и целого мира поэзии. Высокообразованные господа, завзятые посетители премьер, упивались этим посягновением на святая святых. Здесь попиралась ногами легенда, здесь разбивали в прах образы древности. Юпитер был простак, Марс – полоумный, королевская власть становилась фарсом, армия – предметом зубоскальства. Когда Юпитер, с первого взгляда влюбившийся в молоденькую прачку, которую играла Симона, начал лихо отплясывать канкан, а Симона, задирая ноги к самому носу владыки богов, презабавно восклицала: «Папашка-толстячок», – бешеный хохот овладевал залом. Пока шли танцы, Феб поил из салатницы Минерву подогретым вином, а Нептун царил в обществе семи-восьми девиц,

наперебой угощавших его пирожными. Зал на лету ловил намеки и изощрялся в непристойностях; самые невинные слова становились скабрезными в устах зрителей, сидевших в партере. Уже давно театральной публике не доводилось так сладко поваляться в бессмысленно непочтительном шутовстве. И это было отдохновением.

Тем временем действие продолжалось среди все тех же дурацких шуточек. Вулкан в обличье светского щеголя, в желтой паре, в желтых перчатках и с моноклем в глазу по-прежнему вертелся вокруг Венеры, которая на сей раз вышла в костюме рыночной торговки с косыночкой на голове, а на ее пышной груди блистала огромная золотая брошь. Нана, такая беленькая, такая пухленькая, была словно создана для роли, где требуются лишь мощные бедра и столь же мощная глотка; она сразу покорила зал. Ради нее публика забыла Розу Миньон – прелестное бебе в коротеньком муслиновом кринолинчике, очень мило проворковавшее жалобу Дианы. От той, другой, рослой девки, которая звонко хлопала себя по ляжкам и кудахтала, словно курица, исходил аромат самой жизни, извечной женской силы, кружившей зрителям головы. Со второго действия все ей прощалось: и неумение держаться на сцене, и то, что она не могла взять ни одной ноты, и незнание текста; стоило ей только повернуться и захохотать, как со всех сторон неслось «браво!». Когда же она повторяла свое знаменитое вихляющее движение бедрами, партер воспламенялся. Жаркая волна передавалась от яруса к ярусу, застывая где-то под самым потолком. Сцена в кабачке превратилась в триумф Нана. Тут уж она была в своей родной стихии, эта канаворожденная Венера, Венера панелей, с кулаками, упертыми в бока. Да и музыка, казалось, была создана для голоса этой дочери предместий, разухабистая музыка, с какой расходятся после ярмарки в Сен-Клу, – пронзительно чихает кларнет, взвизгивает флейта пикколо.

По требованию публики повторили два номера. Вновь прозвучал вальс из увертюры, тот самый вальс в игриво-шутовском ритме, и боги пустились в пляс. Юнона, наряженная фермершей, застигла Юпитера с прачкой и надавала ему пощечин. Диана, подслушав, как Венера назначает свидание Марсу, поспешила донести о часе и месте встречи Вулкану, который воскликнул: «Я знаю, что делать!» Продолжение было довольно туманно. Обследование закончилось финальным галопом, и Юпитер, задохнувшийся от пляса, весь в поту, без короны, которую он успел где-то потерять, заявил, что земные дамочки просто прелесть и во всем виноваты сами мужья.

Занавес упал под крики «браво!», заглушаемые хором голосов, вопивших:

– Всех! Всех!

Тогда занавес подняли еще раз, вышли актеры, держась за руки. Стоявшие в центре бок о бок Нана и Роза Миньон делали публике реверансы. Зрители хлопали, клакеры не скупились на восторженные крики. Потом публика стала медленно покидать зал.

– Пойду поздороваюсь с графиней Мюффа, – заявил Ла Фалуаз.

– Чудесно, и меня заодно представишь, – одобрил Фошри. – Немножко подождем и отправимся.

Но пробраться к ложам балкона оказалось не так-то просто. В верхнем кулуаре стояла невообразимая давка. Проталкиваясь сквозь густую толпу, приходилось то и дело сторониться, скользить ужом, энергично действовать локтями. Критик-толстяк, прислонившись к стене в луче света, падавшем от медной лампы, разбирал перед кружком внимательных слушателей достоинства и недостатки пьесы. Проходившие мимо называли вполголоса его фамилию. В кулуарах утверждали, что он прохохотал весь второй акт; однако теперь он судил о пьесе весьма сурово, взывая к морали и законам вкуса. Чуть подальше другой критик, тонкогубый, высказывался с полной благожелательностью, которая, впрочем, отдавала кислинкой, словно начавшее портиться молоко.

Фошри поочередно заглядывал во все ложи сквозь круглые окошечки, проделанные в дверях. Но это занятие прервал граф де Вандевр, обратившийся к нему с вопросом, и, узнав, что кузены идут засвидетельствовать свое почтение супругам Мюффа, пояснил, что их ложа седьмая и что сам он оттуда. Потом, нагнувшись к журналисту, тихонько шепнул ему на ухо:

– А знаете, милейший, я более чем уверен, что мы с вами видели эту самую Нана как-то вечером на углу улицы Прованс.

– Господи! Вы совершенно правы! – воскликнул Фошри. – Я же говорил, что я ее знаю.

Ла Фалуаз представил своего кузена графу Мюффа де Бевиль, который встретил визитеров более чем холодно. Но графиня, услышав имя Фошри, подняла головку и сдержанно похвалила хроникера за его статьи в «Фигаро». Она

сидела, облокотившись на бархатный барьер ложи, и теперь повернулась к собеседнику изящным движением плечей и стана. После ничего не значащей болтовни разговор зашел о Всемирной выставке.

– Это будет величественное зрелище, – произнес граф, храня на своем квадратном с правильными чертами лице важное и официальное выражение. – Как раз сегодня я побывал на Марсовом поле… И вернулся оттуда завороженный.

– Говорят, к сроку не поспеют, – бухнул Ла Фалуаз. – Там такая творится неразбериха…

Но граф сурово прервал его:

– Будет готово… Такова воля императора.

Фошри очень мило рассказал, что однажды, отправившись на Выставку за материалами для статьи, он попал в еще строившийся тогда аквариум и сидел там, пока его не выудили. Графиня улыбнулась. Она то и дело поглядывала в зал и, приподняв руку, обтянутую по локоть белой перчаткой, не спеша обмахивалась веером. Опустевший зал погрузился в дремоту, несколько господ, оставшиеся в партере, углубились в чтение газет; дамы непринужденно, точно у себя дома, принимали в ложах знакомых. Теперь под люстрой, яркий свет которой смягчала пелена тончайшей пыли, поднятой в антракте беспрерывным шарканьем ног, слышался лишь сдержанно-благовоспитанный шепот. В дверях толпились мужчины, разглядывая оставшихся на своих местах дам; на минуту они задерживались на пороге и стояли неподвижно, вытянув шею над пластроном, выделявшимся в вырезе фрака, словно огромный белый туз червей.

– Мы рассчитываем видеть вас у себя в ближайший вторник, – обратилась графиня к Ла Фалуазу.

Она пригласила также и Фошри, в ответ он склонился в вежливом поклоне. Пьесу тут не обсуждали, имя Нана не произносили. Граф держался с таким ледяным достоинством, словно присутствовал по меньшей мере на заседании Законодательного корпуса. В оправдание присутствия всей семьи в этом вертепе он сослался на страсть своего тестя к театральным зрелищам. В распахнутые двери ложи была видна высокая фигура маркиза де Шуар в широкополой шляпе,

скрывавшей его дряблое бледное лицо; маркиз вышел, чтобы очистить место для посетителей, и молодецки расправлял свой старческий стан, провожая взглядом мутных глаз проходивших мимо женщин.

Добившись приглашения от графини, Фошри откланялся, поняв, что говорить здесь о пьесе было бы бестактностью. Ла Фалуаз выбрался из ложи последним. Напротив, в литерной ложе графа де Вандевр, рядом с Бланш де Сиври он заметил белокурого Лабордета, который, усевшись, фамильярно с ней беседовал.

– Смотри-ка, – произнес Ла Фалуаз, догнав кузена, – этот Лабордет знаком буквально со всеми дамами. Сейчас он у Бланш.

– Ну конечно, он их всех наперечет знает, – спокойно отозвался Фошри. – Ты что, любезный, с луны, что ли, свалился?

Теперь в кулуарах стало просторнее. Фошри направился было к лестнице, но тут его окликнула Люси Стюарт. Она стояла на пороге своей ложи, в самом дальнем конце коридора. Тут можно испечься живьем, заявила она; дамы, то есть сама Люси, Каролина и ее матушка, заняли весь проход, с хрустом грызя пралине. Билетерша по-родственному беседовала с ними. Люси набросилась на журналиста с упреками: очень красиво, бегает по ложам, а к ним даже не заглянет, даже не поинтересуется узнать, не хотят ли они пить! Потом, внезапно оставив сетования, воскликнула:

– А мне, дружок, представь, Нана очень понравилась.

Люси потребовала, чтобы журналист смотрел последнее действие из ее ложи; но он поспешил улизнуть, пообещав, что зайдет за ними после спектакля. На улице у театрального подъезда Фошри и Ла Фалуаз закурили сигары. Толпа запрудила весь тротуар, мужчины цепочкой спускались с лестницы глотнуть свежего воздуха среди постепенно стихавшего урчания бульваров.

Тем временем Миньон, подхватив Штейнера под руку, затащил его в кафе Варьете. Убедившись в успехе Нана, он первый заговорил о ней с восторгом, зорко наблюдая за банкиром уголком глаза. Он-то хорошо знал банкира, раза два сам помогал ему обмануть Розу, а потом, когда страсти утихали, приводил обратно старого грешника, кающегося и преданного вдвойне. В кафе вокруг

мраморных столиков толпились посетители; некоторые, не присаживаясь, наспех опрокидывали стаканчик; и огромные зеркала многократно отражали это волнующееся море голов, раздвигали до бесконечности стены тесного зальца, освещенного тремя люстрами, с обитыми молескином банкетками и винтовой лестницей, полускрытой красными драпри. Штейнер уселся за столиком в первой зале, выходившей прямо на бульвар; здесь не по сезону рано выставили двери. Заметив проходивших мимо Фошри и Ла Фалуаза, банкир окликнул их:

– Выпейте с нами по кружке пива.

Но все его помыслы занимало одно – ему хотелось послать Нана на сцену букет. Наконец он кликнул гарсона, которого запросто именовал Огюстом. Миньон, слушавший их переговоры, поглядел на банкира таким ясным взглядом, что тот, смутившись, пробормотал:

– Два букета, Огюст, и передайте их билетерше: каждой даме по букету, пусть их кинут в подходящий момент, понятно?

В противоположном конце зала неподвижно сидела перед пустым стаканом девица лет восемнадцати; привалившись затылком к золоченой раме зеркала, она словно оцепенела от бесконечного и тщетного ожидания. Девически чистое личико обрамляли пышные, вьющиеся от природы, пепельные волосы, спадая на бархатистые глаза, смотревшие кротко и простодушно; на ней было платьице выцветшего зеленого шелка; шляпка с круглыми полями, видно, не один раз помятая в драке. Она побледнела от ночной прохлады.

– А вот и Атласка, – пробормотал Фошри, взглянув в ее сторону.

Ла Фалуаз тотчас же осведомился, кто она такая. Да так, обыкновенная бульварная шлюха. Но она такая озорница, что поболтать с ней одно удовольствие. И журналист крикнул:

– Эй, Атласка, что поделываешь?

– Дерьмлю… то есть дремлю, – спокойно отозвалась Атласка, даже не шелохнувшись.

Четверо мужчин в восхищении расхохотались.

Миньон уверял, что торопиться нечего; перемена декораций для третьего акта займет не меньше двадцати минут. Но кузены, допив пиво, все же решили идти в зал; они замерзли. Тогда Миньон, оставшись со Штейнером наедине, уперся локтями в столик и, придвинув свое лицо вплотную к лицу банкира, зашептал:

– Значит, решено? Мы с вами сейчас пойдем к ней, я сам вас и представлю… Только помните, это наша с вами тайна, моей жене ни слова.

Вернувшись на свои места, Фошри и Ла Фалуаз заметили в ложе второго яруса скромно одетую хорошенькую женщину. С ней сидел мужчина важного вида, начальник отделения министерства внутренних дел, по словам Ла Фалуаза, встречавшегося с ним у Мюффа. А Фошри припомнил, что даму, кажется, зовут г-жа Робер; вполне порядочная женщина, имеет зараз не больше одного любовника, и обычно человека с положением.

Тут они оба обернулись. Со своего места их с улыбкой окликнул Дагне. Вдохновленный успехом Нана, он победителем прошелся по кулуарам и теперь уже не скрывал своих чувств. Сидевший с ним рядом школяр так и не вышел из зала в продолжение всего антракта, оцепенев от восхищения перед Нана. Вот это да! Вот это женщина! И он побагровел, то стаскивая, то машинально надевая перчатки. Когда же сосед заговорил о Нана, он, осмелев, задал ему вопрос:

– Простите, сударь, вы знакомы с этой дамой?

– Да, немножко, – нерешительно и не без удивления отозвался Дагне.

– Стало быть, вам известен ее адрес?

Этот вопрос, поставленный в упор, да еще самому Дагне, прозвучал так нескромно, что тот еле удержался, чтобы не дать мальчишке пощечину.

– Нет, – сухо произнес Дагне.

И он повернулся к соседу спиной. Блондинчик понял, что совершил какой-то промах; покраснев еще сильнее, он со страха онемел.

За сценой раздалось три удара, билетерши сбивались с ног, принимая от возвращавшихся с улицы зрителей шубы и пальто. Клака дружно зааплодировала декорации, изображавшей грот на склоне Этны, устроенный в серебряном руднике, стены которого блестели, как новенькие монетки; горн Вулкана, стоявший в глубине, разливал вокруг багровый свет. Во второй сцене Диана уговаривалась с Вулканом, что он сделает вид, будто отправляется в дальнее путешествие, предоставив тем самым Венере и Марсу свободу действий. Когда Диана осталась на сцене одна, вышла Венера. Зрителей охватила дрожь – Нана появилась обнаженной. Появилась со спокойной дерзостью, уверенная в покоряющей силе своего тела. Она накинула лишь газовое покрывало; ее округлые плечи, грудь амазонки с приподнятыми и твердыми, как острие копья, розовыми сосками, широкие, сладострастно покачивающиеся бедра, полные ляжки, все ее тело, тело очень светлокожей блондинки, угадывалось, просвечивало сквозь легкую, белую, как пена, ткань. Это Венера рождалась из пены морской, и покровом ей служили лишь волосы, разбросанные по плечам. Когда Нана подымала руки, у нее под мышками в свете рампы виден был золотистый пушок. Ей уже не аплодировали. Никто не смеялся, лица мужчин вдруг стали серьезными, напряженными, губы пересыхали от волнения, ноздри западали. Чудилось, будто по театру прошел ветерок, пока еще легкий, но предвещавший бурю. Внезапно, у всех на глазах, это простодушное создание превратилось в женщину, и вся призывная сила ее пола потрясла безумием зрительный зал, вызвала к жизни еще не изведанные желания. Нана по-прежнему улыбалась, но пронзительной улыбкой пожирательницы мужчин.

– Н-да! – только и произнес Фошри, обращаясь к Ла Фалуазу.

Тем временем на свидание примчался Марс в своем адмиральском оперении и попал между двух богинь. Эту сцену Прюльер сыграл очень тонко; с блаженным видом женского баловня он принимал ласки обеих – Дианы, которая решила в последний раз пустить в ход свои чары, прежде чем предать изменника в руки Вулкана, и Венеры, которая умасливала любовника, подстрекаемая присутствием соперницы. Сцена закончилась шумным трио; и как раз в эту минуту в ложе Люси Стюарт появилась билетерша и бросила на сцену два огромных букета белой сирени. Раздались аплодисменты. Нана и Роза Миньон раскланивались с публикой, а Прюльер подбирал с пола букеты. Почти половина партера обернулась и с улыбкой уставилась на ложу бенуара, где сидели Штейнер и Миньон. Банкир с побагровевшим лицом судорожно дергал подбородком, как будто в горле у него застряла кость.

Следующие сцены окончательно увлекли зрителей. Диана в гневе удаляется. И Венера, усевшись на дерновую скамейку, подзывает к себе Марса. Никогда еще на подмостках не осмеливались показать столь откровенную сцену обольщения. Нана, закинув за шею Прюльера обе руки, привлекла его к себе, но тут в глубине грота появился Фонтан, корча нелепо свирепые рожи, стараясь преувеличенно комической мимикой показать переживания оскорбленного супруга, поймавшего жену с поличным. В руках он держал свою знаменитую железную сеть. Он раскачал ее движениями рыбака, закидывающего невод в море; и вот благодаря смекалке рогоносца Венера с Марсом попались в ловушку; железная сеть окутала, сковала их в позе счастливых любовников.

Зал наполнился шепотом, перешедшим в глубокий вздох. Кое-кто захлопал, все бинокли были направлены на Венеру. Мало-помалу Нана покорила каждого из этих мужчин. Зов, шедший от нее, словно от львицы в любовном неистовстве, разливался все шире, наполняя зал. Малейший ее жест будил желание; движением мизинца она раскаляла воображение. Спины выгибались, вздрагивали, словно невидимый смычок касался всех фибров тела; теплое женское дыхание как бы проносилось по залу, и от него шевелились волосы на затылке. Фошри увидел, как порывом страсти сорвало с кресла сидевшего перед ним школяра. Из любопытства журналист оглядел ложи: граф де Вандевр стоял очень бледный, со стиснутыми губами; толстяка Штейнера, казалось, вот-вот хватит удар; Лабордет лорнировал дебютантку с видом барышника, любующегося чистокровной кобылкой; у Дагне побагровели уши, и казалось, они даже шевелятся от наслаждения. Потом Фошри бросил рассеянный взгляд назад и замер от удивления, заметив, что творится в ложе Мюффа: позади графини, очень бледной и очень серьезной, стоял граф, широко раскрыв рот, лицо его пошло красными пятнами; а рядом с ним в темноте поблескивали глаза маркиза де Шуар, уже не те тусклые глазки, а два огромных, как у кошки, зрачка, фосфоресцирующие, все в золотых искорках. Публика задыхалась, смоченные по?том волосы липли ко лбу. За эти три часа воздух пропитался жаром и запахами человеческого дыхания. Пыль, висевшая под потолком, казалось, неподвижно застыла вокруг люстры, вся пронизанная светом газовых рожков. Публику шатало от усталости и возбуждения, зрители замирали в том полузабытьи, в том полушепоте желаний, что слышится ночью в глубине алькова. И Нана, мраморное ее тело, женская ее сила, способная сгубить всех сошедшихся сюда мужчин и выйти из игры такой же, какою вошла в игру, – Нана торжествовала над этим залом, над этой полуторатысячной толпой, сломленной к финалу спектакля нервным перенапряжением.

Представление шло к концу. На торжествующие крики Вулкана сбежался весь Олимп, все боги продефилировали перед влюбленными, кто ахая удивленно, кто охая из озорства. Юпитер заявил: «Сын мой, вы поступили неосмотрительно, угостив нас подобным зрелищем». Но все симпатии склонялись к Венере. Хор рогачей, по-прежнему предводительствуемый Иридой, обращается к владыке богов с мольбой не давать ходу жалобе; с тех пор как женщины стали домоседками, мужьям житья нет; лучше быть обманутыми, да жить спокойно – такова была мораль комедии. Затем Венеру освобождают. Вулкан добивается отдельного вида на жительство. Марс воссоединяется с Дианой, Юпитер, желая восстановить мир у домашнего очага, отсылает свою прачку на одно из дальних созвездий. И наконец выпускают из карцера Амура, который, оказывается, и не думал спрягать глагол «любить», а мастерил бумажных петушков. Когда коленопреклоненный хор рогачей в апофеозе спел благодарственный гимн улыбающейся Венере, ставшей как бы еще величественнее в своей царственной наготе, занавес опустили.

Зрители, поднявшись с мест, направились к выходу. Среди громового «браво!» дважды вызывали авторов комедии. Неистовый крик: «Нана! Нана!» – прокатился по залу. В еще не опустевшем зале уже воцарился мрак; потухла рампа, приспустили газ в люстре; длинные серые чехлы легли на бархат аванлож, прикрыли позолоту ярусов; и зал, еще за минуту до того раскаленный и шумный, внезапно погрузился в тяжелый сон, отовсюду пополз запах пыли и плесени. Графиня Мюффа, укутанная в меха, застыла у барьера ложи, ожидая, когда схлынет толпа, и вглядывалась во мрак.

В кулуарах совсем затолкали билетерш, которые и так уже сбились с ног среди груды наваленных друг на друга пальто. Фошри и Ла Фалуаз спешили попасть к разъезду. Вдоль всего вестибюля стояли цепочкой мужчины, а по обоим маршам лестницы лился нескончаемый поток зрителей, плотная масса равномерно шагавших людей. Штейнер, которого подхватил Миньон, выбрался одним из первых. Граф де Вандевр вел под руку Бланш де Сиври. Гага с дочерью сначала растерялись в этой давке, но Лабордет поспешил к ним на помощь, нашел карету и галантно захлопнул за ними дверцу. Никто не заметил, как исчез Дагне. Школяр с разрумянившимися щеками решил ждать возле артистического подъезда, но когда он добежал до Пассажа панорам, то обнаружил запертую железную решетку, а рядом Атласку, которая, проходя, задела его своими юбками; но он грубо отстранился от нее, потом смешался с толпой, обескураженный, чуть не рыдая от страсти. Мужчины закуривали сигары и расходились, мурлыча под нос: «Однажды вечерком Венера…» Атласка вернулась в кафе Варьете, где Огюст милостиво разрешил ей доесть сахар,

оставшийся от посетителей. Наконец какой-то толстяк, разгоряченный спектаклем, увел ее с собой на бульвар, постепенно погружавшийся в темноту.

А публика все еще выходила из театра. Ла Фалуаз поджидал Клариссу. Фошри обещал проводить Люси Стюарт с Каролиной Эке и ее маменькой. Дамы спустились в вестибюль, громко хохоча, они заняли своими юбками целый угол, и тут мимо них с ледяным видом прошествовали граф и графиня Мюффа. Борденав как раз вовремя приоткрыл маленькую дверцу и добился от Фошри клятвенного обещания написать статейку о спектакле. Директор Варьете был весь в поту, лицо его пылало, как солнце, он совсем опьянел от сегодняшнего успеха.

– Двести представлений гарантированы, – любезно заметил ему Ла Фалуаз. – Весь Париж побывает в вашем театре.

Но разгневанный Борденав резким движением подбородка указал на публику, заполнившую вестибюль, на это скопище мужчин с пересохшими губами, с алчно горящими взорами, еще не остывших после воображаемого обладания Нана, и яростно выкрикнул:

– Да говори же – в моем борделе, упрямая башка!

II

На следующий день Нана все еще отсыпалась после спектакля, хотя уже пробило десять. В огромном новом доме на бульваре Османа она занимала весь третий этаж, так как домохозяин охотно сдавал одиноким дамам только что отстроенные помещения, в надежде, что они приведут его в жилой вид. Какой-то богатый купец из Москвы, проводивший зиму в Париже, поселил здесь Нана, заплатив хозяину за полгода вперед. Эту слишком просторную квартиру так и не удалось как следует обставить, и кричащая роскошь консолей и золоченых стульчиков преспокойно соседствовала с разномастной мебелью, приобретенной по случаю у перекупщицы, с палисандровыми столиками, с цинковыми подсвечниками под флорентийскую бронзу. Все говорило о тернистом пути девицы, слишком скоро оставленной первым своим солидным покровителем и пошедшей по рукам всяких подозрительных субъектов, о первых трудных шагах

на новом поприще, – одним словом, о не совсем удачном начале карьеры под вечной угрозой лишиться кредита у лавочника и быть выгнанной домохозяином.

Нана спала на животе, обхватив обнаженными руками подушку и уткнувшись в нее побледневшим от сна личиком. Только убранство спальни да туалетной комнаты, в отличие от всей прочей квартиры, было поручено в свое время заботам местного обойщика. Солнечный луч, проскользнув под занавеску, осветил палисандровую мебель, штофные обои и пуфики, обитые тем же серым шелком с огромными голубыми цветами. Но вдруг Нана проснулась в своей спальне, еще не проснувшейся, напоенной влажной духотою, проснулась внезапно, как будто ее пробудило необычное ощущение пустоты подле себя. Она взглянула на соседнюю подушку, где на гипюровой наволочке еще теплела ямка, хранившая очертания чьей-то головы. Нащупав над изголовьем постели электрический звонок, она нажала кнопку.

– Ушел? – спросила она горничную, появившуюся на пороге спальни.

– Да, мадам, господин Поль ушел минут десять назад… Так как мадам очень устали, он не захотел ее будить. Но поручил мне передать мадам, что придет завтра.

Не прекращая ни на минуту болтовни, Зоя, горничная Нана, открыла жалюзи. В комнату ворвался яркий утренний свет. Зоя, очень темная брюнетка, гладко прилизывала волосы, разделенные прямым пробором; лицо у нее было длинное, какое-то собачье, бледное и рябое, нос приплюснутый, толстые губы и черные бегающие глазки.

– Завтра, завтра, – повторила еще не окончательно проснувшаяся Нана, – разве завтра его день?

– А как же, мадам, господин Поль всегда приходит по средам.

– Ах, вспомнила! – воскликнула Нана и даже села на кровати. – Ведь все изменилось. Я хотела ему сказать утром… Он же столкнется с Чернышом. Будет целая история!

– Мадам меня не предупредили, откуда же мне знать, – проворчала Зоя. – Если мадам меняет дни, пусть уж потрудится меня предупреждать, чтобы я была в

курсе дела. Значит, старый скупердяй теперь не по вторникам ходить будет?

Этими кличками «скупердяй», «Черныш» хозяйка с горничной отнюдь не для смеха, а всерьез, называли двух содержателей Нана – коммерсанта из предместья Сен-Дени, человека весьма прижимистого, и некоего валаха, выдававшего себя за графа, – этот давал деньги крайне нерегулярно и неизвестно откуда их брал… Дагне приходил сразу же после «скупердяя»; так как коммерсанту необходимо было к восьми часам попасть домой, молодой человек терпеливо поджидал его ухода на кухне у Зои, а затем занимал еще не остывшее местечко возле Нана, с которой и оставался вплоть до десяти часов; потом он тоже шел по делам. Они с Нана находили это весьма удобным.

– Ничего не поделаешь! – вздохнула Нана. – Напишу ему сегодня после обеда… Ну, а если письмо не успеет дойти, вы завтра утром его не впускайте.

Зоя тем временем бесшумно шмыгала по комнате. Какой огромный успех выпал накануне на долю мадам! Мадам сумела блеснуть талантом, а как дивно она пела! Ах, мадам теперь может быть совершенно спокойна!

Нана, опершись локтем о подушку, одобрительно кивала. Ночная сорочка сползла с плеча, распустившиеся спутанные волосы рассыпались по спине.

– Что верно, то верно, – пробормотала она, мечтательно глядя вдаль, – но пока-то как мы перебьемся? Уже сегодня неприятностей не оберешься… Привратник опять приходил?

Тут разговор принял серьезный оборот. За квартиру не плачено уже три срока, хозяин грозит наложить арест на имущество. Кроме того, в переднюю ежедневно врывалась целая толпа кредиторов – каретник, белошвейка, портной, угольщик и прочие; все они усаживались на скамеечку и ждали. Особенно допекал ее угольщик, он еще на лестнице подымал крик. Но самым большим огорчением Нана был крошка Луи, мальчик, которого она родила на шестнадцатом году жизни и оставила у кормилицы, жившей в деревушке под Рамбулье. Кормилица требовала триста франков, иначе ребенка она не отдаст. После последнего визита в Рамбулье Нана вдруг воспылала материнской любовью к своему ненаглядному Луизэ и горевала, что не может осуществить проект, ставший чуть ли не манией – выплатить кормилице долг, забрать ребенка и поселить его у своей тетки мадам Лера в Батиньоле, где при желании

можно видеться с сынишкой хоть каждый день.

Тут Зоя намекнула, что мадам вполне бы могла поговорить о их неотложных нуждах со скупердяем.

– Эх, сколько раз я ему уже говорила, – взорвалась Нана, – а он твердит, что у него крупные платежи… Он сверх своей тысячи в месяц гроша ломаного не даст. Черныш сейчас сидит на бобах, – должно быть, продулся в карты… А моему бедненькому Мими самому впору занимать; падение курса акций его окончательно разорило, даже букета не может мне принести.

Нана заговорила о Дагне. В минуты утренней откровенности у нее от Зои не было секретов. А Зоя, привыкшая к этим интимным излияниям, слушала их почтительно и сочувственно. Но раз сама мадам удостаивает ее разговорами о своих делах, она может позволить себе высказать то, что у нее на уме. Прежде всего она горячо любит мадам, она ведь ради мадам бросила мадам Бланш, а уж чего только та не делала, лишь бы заманить Зою обратно! Место ей, слава богу, всегда найдется, ее ведь хорошо знают; но она предпочитает остаться у мадам; пусть им сейчас туго приходится, все равно она верит в будущее мадам. Свою тираду Зоя закончила довольно определенным советом. Конечно, в молодые годы человек всегда наделает глупостей. Но пора уже взяться за ум, потому что мужчинам, им бы только свое получить! От них теперь отбоя не будет! Мадам достаточно слово сказать, чтобы утихомирить кредиторов и получить сколько угодно денег.

– Все это так, да только сейчас трехсот франков нету, – твердила Нана, запустив пальцы в разметавшиеся пряди волос. – А мне нужно триста франков сегодня, немедленно… Такая глупость, не иметь человека, который может дать вам триста франков!

Она строила проект за проектом, она непременно пошлет в Рамбулье мадам Лера, которая заглянет к ним как раз сегодня утром. Неутоленная прихоть портила ей всю радость от вчерашнего триумфа. Подумать только, среди всех этих мужчин, что орали вчера как оглашенные, нет ни одного, который взял бы да и принес ей пятнадцать луидоров! Но она вовсе не хочет брать зря деньги. Господи, до чего же она несчастная! И то и дело она вспоминала своего Луизэ: глазенки у него голубые, как у ангелочка, а как он говорит «мама», с хохоту помереть можно!

Но ее сетования прервала захлебнувшаяся дребезжащая трель электрического звонка. Вернувшись из передней, Зоя доверительно шепнула:

– Женщина пришла.

Десятки раз Зоя видела эту «женщину», только притворялась, будто не узнает ее и даже понятия не имеет, зачем она ходит к дамам, испытывающим денежные затруднения.

– Она мне свое имя сказала… Ах да, мадам Трикон.

– Триконша! – воскликнула Нана. – Верно, ведь я совсем забыла… Введи же ее сюда.

Зоя ввела в спальню высокую даму в длинных буклях, похожую на обедневшую графиню, превратившуюся на старости лет в заядлую сутяжницу. Потом горничная испарилась, бесшумно исчезла, прошмыгнув в двери гибким змеиным движением, как обычно, когда в спальню мадам входили гости. Впрочем, она преспокойно могла бы и остаться. Триконша даже не присела. Дамы обменялись несколькими короткими фразами.

– У меня для вас есть кое-кто на сегодня. Согласны?

– Согласна… А сколько?

– Двадцать луидоров.

– К какому часу?

– К трем… Значит, решено?

– Решено.

Триконша сразу же переменила тему разговора, – погода, слава богу, стоит сухая, гулять сейчас одно удовольствие. Ей еще надо побывать в трех-четырех домах. И, сверившись с записной книжечкой, она удалилась. После ее визита Нана, видимо, успокоилась. Легкая дрожь пробежала по ее плечам, она снова

зарылась в теплую постель ленивыми движениями иззябшей кошечки. Глаза ее слипались, она улыбнулась при мысли, что завтра как принца разрядит своего ненаглядного Луизэ; она вновь задремала, и вновь пришли лихорадочные сны, которые виделись ей всю ночь; гулкое «браво!» звучало беспрерывно, как протяжная басовая нота, баюкая усталое тело.

В одиннадцать часов, когда Зоя ввела в спальню мадам Лера, Нана все еще спала. Но, разбуженная шумом шагов, сразу же узнала тетку.

– Ах, это ты… Сегодня же поедешь в Рамбулье.

– За тем и пришла, – отозвалась тетка. – Поезд отходит в двенадцать двадцать. Я еще поспею.

– Нет, деньги у меня будут попозже, – пояснила Нана, потягиваясь и выгибая грудь. – Сейчас позавтракаем, а там видно будет.

Зоя принесла хозяйке пеньюар.

– Мадам, парикмахер пришел, – шепнула она.

Но Нана не хотелось покидать спальни. Она крикнула:

– Входите, Франсис!

Прилично одетый господин переступил порог. Вежливо поклонился дамам. Как раз в эту минуту Нана собралась подняться с постели и свесила на пол свои голые ноги. Она не торопилась и не спеша протянула руки, чтобы Зое удобнее было надеть на нее пеньюар. Франсис, видно чувствовавший себя здесь как дома, степенно ждал, не оборачиваясь. Но когда Нана уселась и он провел гребнем по ее шевелюре, завязалась беседа.

– Должно быть, мадам еще не видела газет… В «Фигаро» помещена прекрасная статья.

По дороге он купил газету. Мадам Лера нацепила очки и, подойдя к окну, начала громко читать статью. Она выпрямила свой мужеподобный стан и, произнося

хвалебные эпитеты, многозначительно шевелила ноздрями. Статью написал Фошри сразу же после спектакля: на двух колонках пылкой прозой он расточал ехидные остроты по адресу актрисы и грубую лесть по адресу женщины.

– Превосходно! – твердил Франсис.

Нана даже бровью не повела, слушая насмешки над своим голосом. А все-таки этот Фошри прелесть; она непременно отблагодарит его за любезность. Мадам Лера, перечитав статью еще раз, вдруг заявила, что у каждого мужчины в ребре бес сидит, но от дальнейших объяснений отказалась, весьма довольная своим игривым намеком, смысл коего был понятен лишь ей одной. Но Франсис уже закончил взбивать и укладывать кудри Нана. Он раскланялся и бросил на прощанье:

– Я непременно посмотрю вечерние газеты… Приходить как обычно? К половине шестого?

– Принесите мне банку помады и фунт пралине от Буасье! – крикнула вслед ему Нана, когда он проходил через гостиную, направляясь к выходу.

Только сейчас, оставшись наедине, тетка и племянница вспомнили, что не успели поздороваться, и обменялись звучным поцелуем. Статья их вдохновила. Нана, до сих пор бродившую, как в полусне, вдруг охватила лихорадка вчерашнего триумфа. Интересно было бы посмотреть теперь на эту Розу Миньон! Тетка не пожелала прийти в театр, она уверяла, что волнение вредно отражается на ее желудке, и Нана стала подробно описывать события минувшего вечера, упиваясь собственным рассказом, из коего следовало, что Париж чуть не рухнул от грома рукоплесканий. Вдруг, прервав свое повествование и расхохотавшись, она спросила тетку: ну можно ли было вообразить себе такое, когда Нана девчонкой шаталась по улице Гут-д’Ор? Мадам Лера отрицательно помотала головой. Конечно нет, кто же мог такое предвидеть. И тут она заговорила важным тоном, называя Нана доченькой. Да разве она и вправду ей не мать, ведь родительница ее отправилась вслед за папашей и бабушкой… Нана, растрогавшись, чуть не заплакала. Но мадам Лера успокоительно твердила, что прошлое – оно и есть прошлое, да к тому же нехорошее, грязное прошлое, чего в нем копаться. Сама она долго не встречалась с племянницей: родные обвиняли ее, будто она развратничает заодно с девчонкой. Господи, да мыслимо ли это! Она ведь не требовала от Нана откровенности, она всегда верила, что племянница ведет порядочную жизнь. И

теперь от души радуется, что Нана так хорошо устроилась и так крепко любит своего сыночка. Нет ничего на свете выше труда и честности.

– А от кого младенчик-то? – вдруг спросила она, прервав свои нравоучения, и в глазах ее вспыхнуло острое любопытство.

Застигнутая врасплох, Нана замялась.

– Так, от одного господина, – наконец ответила она.

– Гляди-ка ты! – подхватила тетка. – А говорят, ты прижила его от каменщика, и он, говорят, тебя здорово поколачивал… Ладно, как-нибудь все в подробностях расскажешь; ты знаешь, я могила! Ничего, не беспокойся, я за мальчиком, словно за принцем, ухаживать буду!

Мадам Лера уже рассталась с профессией цветочницы и жила теперь на свои сбережения, на ренту в шестьсот франков, собранных по грошу. Нана посулила снять ей маленькую квартирку и ежемесячно давать по сотне франков. Услышав эту цифру, тетка совсем потеряла голову и закричала, что надо их всех взять за глотку, раз они теперь у Нана в руках, подразумевая под словом «они» – мужчин. Родственницы снова расцеловались. Но в самый разгар веселья Нана вдруг помрачнела потому, что разговор опять зашел о Луизэ.

– Экая досада, к трем часам придется уходить, – пробормотала она. – Вот еще наказание!

Тут вошла Зоя и доложила, что завтрак подан. В столовой, поджидая Нана, уже сидела дама почтенных лет. На ней было платье неопределенного цвета, нечто среднее между красно-коричневым и желто-зеленым, шляпки она не сняла. Нана ничуть не удивилась при виде гостьи. Только спросила, почему та сразу не прошла в спальню.

– Я услыхала голоса, – пояснила старушка, – и решила, что у вас кто-то есть.

Мадам Малюар, дама на вид почтенная и благовоспитанная, играла при Нана роль не то компаньонки, не то старой подруги, – и часто ее сопровождала. При виде Лера она сначала насторожилась. Но, узнав, что это тетя, старушка

улыбнулась уголком губ и кротко на нее поглядела. Тут Нана заявила, что у нее от голода кишки подвело, и, набросившись на редиску, стала грызть ее без хлеба. Мадам Лера вдруг напустила на себя церемонный вид и отказалась от редиски – редиска вызывает мокроту. Когда Зоя подала отбивные котлеты, Нана нехотя отщипнула кусочек мяса, зато обсосала косточку. Она то и дело искоса поглядывала на шляпку своей компаньонки.

– Это та самая новая шляпа, которую я вам подарила? – не выдержала она наконец.

– Та самая, только я ее переделала, – пробормотала с полным ртом мадам Малюар.

Шляпка и впрямь была диковинная, с широкими полями, закрывавшими лоб, а посреди высоченное перо. У мадам Малюар была мания переделывать все свои шляпки; она одна знала, что ей идет, и в мгновение ока превращала самый изящный головной убор в бесформенный шлык. Нана, нарочно купившая шляпку своей подруге, чтобы не краснеть за нее, когда они выезжали вместе, чуть было не взорвалась.

– Хоть снимите ее по крайней мере, – крикнула она.

– Благодарю, она мне ничуть не мешает, – с достоинством ответила старая дама.

За котлетами последовала цветная капуста и половина холодного цыпленка, оставшегося от ужина. При виде каждого блюда Нана недовольно морщилась, сидела в нерешительности, не зная, что выбрать, обнюхивала каждый кусок, а в конце концов все оставляла на тарелке. На сладкое подали варенье.

Десерт затянулся. Зоя принесла кофе, не потрудившись убрать со стола. Дамы просто отодвинули тарелки в сторону. Разговор по-прежнему шел о вчерашнем триумфе. Нана крутила пахитоски, пускала в потолок дым и раскачивалась, откинувшись на спинку стула. А так как Зоя тоже осталась в столовой и, сложив руки, прислонилась к буфету, пришлось дамам выслушать и ее историю. Матушка Зои, как уверяла она, была акушеркой в Берси, да ей не повезло. Сначала Зоя пошла в услужение к зубному врачу, от него к страховому агенту, но ее это не устраивало, – и тут она не без гордости перечислила всех дам, у которых служила горничной. Говорила Зоя об этих дамах с таким видом, будто

только ей одной они обязаны были своим благополучием и богатством. Сколько раз она им помогала выпутываться из всяких историй! Взять хотя бы мадам Бланш, у нее как-то сидел г-н Октав, а вдруг приходит старик; вы думаете, Зоя растерялась, как бы не так! Ведя гостя через гостиную, она нарочно оступилась и упала, старик, конечно, засуетился, бросился за водой на кухню, а г-н Октав тем временем успел скрыться.

– Ну и молодчина! – воскликнула Нана, слушавшая рассказ горничной с самым живым сочувствием, даже с каким-то раболепным восхищением.

– Я на своем веку тоже хлебнула горя… – начала мадам Лера.

И, пригнувшись к мадам Малюар, она пустилась в откровенности. Обе дамы обмакивали в коньяк кусочки сахара. Но мадам Малюар, охотно выслушивая чужие тайны, никогда не открывала своих. Утверждали, что живет она на какую-то загадочную пенсию и в свою комнату никого не пускает.

Вдруг Нана вспылила:

– Не играй ты ножами, тетя!.. Ты же знаешь, что я этого терпеть не могу.

Мадам Лера машинально положила на скатерть крестообразно два ножа. Впрочем, Нана утверждала, что вовсе она не суеверная. Например, опрокинуть солонку – это пустяки, и пятницы тоже бояться нечего; но вот ножи совсем другое дело, тут она ничего с собой поделать не может, эта примета никогда не обманывает. С ней наверняка случится какая-нибудь неприятность… Она зевнула, потом с видом величайшей досады произнесла:

– Уже два часа… Пора идти.

Пожилые дамы переглянулись. Все трое многозначительно покачали головой. Кто спорит, веселого тут мало. Нана снова откинулась на спинку стула, закурила новую пахитоску, а обе ее собеседницы сидели с глубокомысленным видом, скромно поджав губы.

– А мы пока сыграем в безик, – первой нарушила молчание мадам Малюар. – Вы умеете, мадам, играть в безик?

Конечно же, мадам Лера играет в безик и играет отлично. Незачем беспокоить Зою, которая куда-то испарилась, – вполне хватит места на углу стола; край скатерти откинули прямо на грязные тарелки. Но когда мадам Малюар встала, чтобы взять карты из ящика буфета, Нана попросила ее сначала написать одно письмецо. Писание ей претило, к тому же она была не особенно тверда в орфографии, а ее старая компаньонка славилась уменьем составлять душещипательные послания. Нана сбегала в спальню и принесла листок превосходной бумаги. Чернильница, вернее пузырек дешевых чернил, и ручка с заржавленным пером были обнаружены в разных углах комнаты. Письмо предназначалось Дагне. Мадам Малюар по собственному почину вывела своим прекрасным почерком с наклоном вправо: «Мой обожаемый дружок» – и известила его, чтобы он завтра не приходил, потому что «никак нельзя», но «все равно в любую минуту дня и ночи, близко ли он, далеко ли, мысленно она всегда с ним».

– А закончу я так: «миллион поцелуев», – пробормотала она.

Мадам Лера одобряла каждую фразу важным кивком головы. Глаза ее загорелись, она млела даже от косвенного участия в чужих любовных делах. Ей тоже захотелось вставить словцо, и она с томным видом проворковала:

– «Целую миллион раз твои милые глазки».

– Ох, чудно – «целую миллион раз твои милые глазки», – повторила Нана, а на лицах обеих старух застыло блаженное выражение.

Позвонили Зое, чтобы она вручила письмо рассыльному. Та как раз беседовала с театральным служителем, который принес мадам забытое утром расписание спектаклей. Нана велела впустить служителя и поручила ему на обратном пути занести письмо Дагне. Потом засыпала его вопросами. О, господин Борденав очень доволен, билеты распроданы вперед на целую неделю; мадам и представить себе не может, сколько людей с утра справлялись об ее адресе. Когда служитель ушел, Нана сообщила, что вернется, самое большее, через полчаса. Если кто явится с визитом, Зоя скажет, чтобы ждали. Слова ее прервало треньканье электрического звонка. Явился кредитор-каретник; он уселся на скамейку в передней. Ну и пусть плюет в потолок хоть до вечера, торопиться некуда.

– Пора! – произнесла Нана, отяжелевшая, с трудом преодолевая лень, снова зевая и потягиваясь. – Иду.

Однако даже не двинулась с места. И стала следить за игрой тетки, которая выложила четыре туза. Подперев подбородок рукой, Нана задумалась. Но, услышав, что часы бьют три, она подскочила на стуле.

– Эх, черт! – грубо бросила она.

Мадам Малюар, подсчитывая очки, посоветовала ей мягким тоном:

– Лучше, деточка, побыстрее освободиться.

– Иди-ка скорее, – добавила мадам Лера, тасуя карты. – Если ты вернешься домой с деньгами до четырех часов, я успею еще на поезд четыре тридцать.

– Да это недолго, – пробормотала Нана.

Зоя подала платье и шляпку, и через десять минут Нана была уже готова. Сейчас ей было, впрочем, не до нарядов. Когда она направлялась к дверям, снова раздался звонок. На сей раз явился угольщик, – ничего, посидит вместе с каретником, им же веселее будет. Однако, опасаясь скандала, она прошла через кухню и улизнула по черной лестнице. Она нередко пользовалась черным ходом – разницы никакой, только приходится повыше поднимать юбки, чтобы не завозить подол.

– Чего не простишь хорошей матери, – наставительно изрекла мадам Малюар, оставшись наедине с мадам Лера.

– У меня четыре короля, восемьдесят очков! – воскликнула та, увлеченная игрой.

И обе, забыв все на свете, углубились в нескончаемую партию.

Со стола так и не убрали. Всю комнату заволокло тусклой дымкой – к едкому запаху табака примешивался запах пищи. Дамы, решив полакомиться, снова принялись обмакивать кусочки сахара в коньяк. Минут двадцать они играли, безмятежно посасывая сахар, как вдруг у входной двери опять раздался звонок,

в столовую влетела Зоя и стала без церемонии выпроваживать их прочь.

– Ведь звонят же… Нельзя вам здесь сидеть… Если явится много народу, мне и всей квартиры не хватит. А ну, живо! живо!

Мадам Малюар заявила, что сначала надо кончить партию, но когда Зоя сделала вид, что собирается смешать карты, компаньонка согласилась перебраться в другое помещение. Главное, запомнить свои карты, а мадам Лера прихватит бутылку коньяка, стаканы и сахар. И обе бегом пустились на кухню, где устроились на кончике кухонного стола, среди просыхавших тряпок, возле лохани с жирной, грязной водой.

– Объявляю семейство триста сорок очков. Теперь ваш черед.

– Черви козыри.

Вернувшись на кухню, Зоя обнаружила, что обе дамы снова всецело поглощены игрой. Воспользовавшись тем, что мадам Лера тасует карты, мадам Малюар осведомилась:

– А кто пришел?

– Да так, один! – небрежно бросила горничная. – Какой-то мальчуган… Я хотела было его выставить, да больно уж он хорошенький, на подбородке даже пушка нет, глаза синие-синие и мордочка, как у девочки, ну я сказала – пускай ждет… А букет какой огромный притащил, из рук боится его выпустить; надавать бы ему, сопляку, шлепков; тоже по гостям ходит вместо того, чтобы за партой сидеть.

Мадам Лера отправилась за графином с водой, она решила сделать грог; от сахара с коньяком у нее началась жажда. Зоя заявила, что тоже не прочь выпить чего-нибудь. У нее во рту такая горечь, просто желчь одна.

– Так, значит, куда вы его дели? – продолжала свои расспросы мадам Малюар.

– В заднюю комнатку, она у нас еще не обставлена… Там только и есть, что сундук да стол. Самое место для скряг.

Зоя с удовольствием потягивала грог, как вдруг снова позвонили, и она даже подскочила. Вот-то дьявол! Не дадут человеку спокойно посидеть, выпить стаканчик. Если уж сейчас такой трезвон идет, что-то будет дальше? Однако бросилась отпирать двери. Потом, вернувшись на кухню, ответила на вопросительный взгляд мадам Малюар:

– Никого. Букет.

Все трое, кивнув друг другу, осушили стаканы. Не успела Зоя убрать посуду со стола и сложить тарелки в каменную мойку, как снова позвонили, подряд два раза.

Но и эти звонки были просто так, несолидные! Зоя держала кухню в курсе событий и оба раза повторила презрительным тоном:

– Чепуха, букет.

А дамы между двумя сдачами заливались хохотом, слушая Зою. Ну и таращат же глаза кредиторы там в прихожей, видя, как несут букет за букетом! Цветы Зоя пока поставит на туалет. Мадам вернется и сразу их увидит. Одно обидно, деньги плачены бешеные, а продай, так и десяти су не выручишь. Словом, зря деньги на ветер люди бросают!

– Мне бы такие деньги, какие мужчины тратят в Париже на букеты! Хватило бы прожить! – заметила мадам Малюар.

– Еще бы, нам много не нужно, – пробормотала мадам Лера. – Одни ленты от букетов сколько стоят. Выкладываю дам, шестьдесят очков, голубушка.

Часовые стрелки показывали без десяти четыре. Зоя только диву давалась, почему это хозяйки так долго нет. Обычно, если мадам уходит после полудня, она в два счета управляется. Но мадам Малюар возразила, что не всегда получается так, как хочешь. Ее поддержала мадам Лера – чего только в жизни не бывает! Лично она подождет; если племянница опаздывает, значит, с делами не управилась, ведь верно? Впрочем, никто не жаловался на это опоздание. В кухне было уютно, тепло. И так как у мадам Лера не осталось на руках червей, она стала сбрасывать бубны.

Снова протренькал звонок. В кухню вбежала раскрасневшаяся Зоя.

– Ну, детки, сам толстяк Штейнер пожаловал! – сообщила она с порога, понизив голос. – Его-то я посадила в маленькой гостиной.

Тут мадам Малюар рассказала кое-что о банкире мадам Лера, которая ничего об этих господах не знала. Неужто он собирается бросить Розу Миньон? Зоя задумчиво покачала головой, ей было что порассказать. Но тут снова пришлось идти открывать двери.

– Хорошенькое дело! – буркнула она, входя в кухню. – Черныш явился! Сколько я ему ни втолковывала, что мадам нет дома, все равно прошел в спальню и сидит… А мы его только к вечеру ждали.

Нана все еще не появлялась, хотя было уже четверть пятого. Что она там делает? Просто глупо. Принесли еще два букета. Зоя, которой все это уже надоело, заглянула в кофейник. Дамы тоже охотно выпили бы по чашечке: кофе бодрит. Они чуть не валились со стула, клевали носом, их укачало однообразное движение, которым обе брали со стола карты. Пробило половину пятого. Нет, с мадам что-то приключилось. Дамы шепотом вели счет взяткам.

Вдруг мадам Малюар, забывшись, объявила громовым голосом:

– У меня пятьсот очков! Семейство от козырного туза.

– Да тише вы! – сердито шикнула на нее Зоя. – Господа бог знает что подумают!

Но тут воцарившуюся на кухне тишину, свистящий шепот ссорившихся за картами старух вдруг нарушили быстрые шаги на черной лестнице. Наконец-то Нана явилась. Еще за дверью они услышали прерывистое ее дыхание. Она не вошла, а влетела, щеки пылали огнем. Подолом юбки, – завязки, очевидно, порвались, – она подмела все ступеньки и вымочила оборки в помоях – служанка со второго этажа, мерзкая грязнуха, вечно разводит на лестнице болото.

– Слава тебе господи, пожаловала! – процедила сквозь зубы мадам Лера. Она никак не могла опомниться после выигрыша мадам Малюар. – Небось лестно, что столько людей тебя ждет.

– Нет, правда, сударыня, с вашей стороны это неблагоразумно, – поддержала Зоя.

Нана, явившись в дурном расположении духа, зашлась от гнева, услышав эти упреки. Так-то они ее встречают! После всех ее неприятностей!

– Идите вы к черту! – завопила она.

– Ох, тише вы, сударыня, там люди, – остановила ее служанка.

Нана, понизив голос, пробормотала, запинаясь:

– Вы небось воображаете, что я там веселилась?! Как бы не так, еле дождалась, когда можно будет уйти. Вы бы на моем месте побыли… Взяла бы и надавала ему пощечин, еле сдержалась… И как на грех ни одного фиакра не попалось! Слава богу, хоть недалеко отсюда. И все равно неслась домой сломя голову.

– Деньги принесла? – осведомилась тетка.

– Еще бы не принесла! – ответила Нана.

Она присела на стул прямо у плиты – ноги гудели после сумасшедшего бега – и, еще не отдышавшись как следует, вытащила из-за выреза лифа конверт с четырьмя билетами по сто франков. Билеты выглядывали из конверта, грубо надорванного прямо пальцем, – видимо, Нана желала проверить его содержимое. Все три женщины, обступив Нана, пристально глядели на смятый засаленный конверт из толстой бумаги, который держала маленькая ручка в перчатке. Уже поздно, сегодня мадам Лера не попадет в Рамбулье. Нана тут же сцепилась с теткой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/emil-zolya/nana

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить